

МАРК ХАРИТОНОВ

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

Разговоры с В. А. Кавериним

Я уже не раз ссылаясь на свои дневниковые записи, которые вел с 1962 года, пользуясь упрощенной стенографией. Из этих записей составились две книги, вышедшие в издательстве НЛО: «Стенография конца века. 1975—1999» (2002) и «Стенография начала века. 2000—2009» (2011). Значительная их часть до сих пор остается нерасшифрованной. Здесь воспроизводятся лишь некоторые из разговоров с В. А. Кавериним.

Году, помнится, в 1970-м общая знакомая дала Вениамину Александровичу почитать что-то из моих рукописей. Некоторое время спустя я ему позвонил, он предложил мне приехать к нему на дачу в Переделкино. Я уже давно писал прозу, кормился переводами и разной мелкой поденщиной, меня не печатали. Разумеется, была надежда на протекцию мэтра. Вениамин Александрович однажды действительно порекомендовал мой рассказ «Отец и дочь» ленинградскому журналу «Звезда», я съездил туда с его письмом. Отделом прозы в журнале тогда заведовал А. С. Смолен, он принял меня уважительно: рекомендация Вениамина Александровича, сказал, для нас много значит. Потом я получил от него письмо: рассказ ему понравился, но опубликовать его журнал не может. «Причины объяснять не буду». Вообще-то можно было бы и самому догадаться. Другие мои работы, которые читал Вениамин Александрович, я сам сейчас смутно помню, они были поздней или уничтожены, или использованы для других текстов — кроме последней упомянутой ниже повести «Гоголь» («День в феврале»).

Интересней всего для меня были, конечно, разговоры с В. А. Кавериним. Кое-что из рассказанного им я потом встречал в его воспоминаниях — и мог убедиться, что записывал довольно точно.

Когда выяснилось, что журнал «Звезда» готов опубликовать мои записи о В. А. Каверине, я решил разыскать рассказ «Отец и дочь». Совсем его с тех пор забыл, не пытался нигде больше пристроить. Оказалось, он был написан еще в 1965 году (почти полвека назад!), и его, пожалуй, даже сейчас вполне можно читать. Возникла мысль присоединить рассказ к моим записям.

Редакции эта идея неожиданно понравилась. «Нужно будет придумать какую-нибудь рубрику, — ответил мне редактор журнала. — Вообще же забавно было бы восстановить эстетическую хотя бы справедливость и отвергнутый „Звездой“ полвека назад рассказ читателям все-таки представить».

23. 2. 71. Был у Каверина. Приехал часов в девять, он весь этот день работал, устал... Я дал ему свои рассказы, устно объяснил замысел «Старого дома» — не обязательно, как теперь понимаю. Ну посмотрим, что он скажет. Каверин заметил, что его воспоминания, которые будут напечатаны в □ 6 «Звезды», тоже называются «В старом доме» — это дом в Ленинграде, где он читал лекции. Я засмеялся: «Тогда сниму свое название». — «Зачем же? Это одно из самых распространенных заглавий вообще. Можете посмотреть в справочнике — наверное, несколько десятков произведений с таким заглавием».

Я пытался объяснить, почему решил свести рассказы в цикл: заметил, что мои герои поневоле оказываются чем-то похожими — очевидно, они чем-то близки мне, похожи на меня.

«А вы думаете, вы знаете себя? — спросил он. — Я сейчас пишу мемуары, наверное, получится три тома, вспоминаю себя с детства. Я все пытался разобраться, какой я. Но и сейчас этого не знаю. Было время, когда я считал себя трусливым и хотел воспитывать в себе храбрость. Брат придумывал мне испытания. Он был старше меня, храбрее, но глуп (это он о Зильбере, академике), я чуть не дал дуба. А потом был на войне и никак не мог сказать, как я себя поведу, окажусь ли храбрым...»

Я в ответ намеком рассказал про споры, связанные с В. А., и заметил, что не берусь судить: как бы я вел себя сам, если бы меня вызвали (в КГБ). Не знаю.

«Меня вызывали в 1941-м, — сказал он. — Предлагали сотрудничество. Я был тогда одним из руководителей Союза писателей, секретарем Ленинградского отделения. Я проявил необычную твердость и отказался. Хотя они были весьма настойчивы, вызывали меня несколько раз, я возвращался домой, за мной снова приезжали. И дело не в какой-то особенной смелости, а в том, что я просто ясно понял: если я соглашусь, это будет означать мою гибель. Если бы я согласился, мы бы с вами сейчас не беседовали. Я так представил себе эту двойственность, эти муки совести... нет, я просто защищал свою жизнь и сумел проявить твердость. Они уговаривали меня глупо, и угрозами, и посулами. Посулы были idiotские. Они, например, говорили: вам уже сорок лет, вы не то что простой молокосос. Мы можем сделать так, чтобы вас не посылали в опасные места, оставили в безопасности. Мне даже смешно стало. Я работал на Северном флоте. Представьте себе, моих товарищей посылают куда-то, а я странным образом остаюсь в безопасности. Не вышла эта уловка, придумали другую: нам известно, что в Ленинграде сильны антисемитские настроения, вы бы нам рассказывали об этом, если услышите. Пытались сыграть на моих национальных чувствах, которых у меня никогда не было. Я с тринадцати лет убежденный интернационалист, я не знаю языка. Достаточно сказать, что мама запрещала мне ходить на занятия по еврейской религии, чтобы я не испортил своего русского происхождения. Я им говорю: подумайте, я еврей, к тому же секретарь правления Союза писателей, кто это ко мне подступит с антисемитскими разговорами? Не вышло это, придумали что-то еще... А заинтересовались мной, между прочим, в связи с делом Тихонова. Представьте, на Тихонова было дело, и если бы ему дали ход, то полетели бы очень многие, мы бы с вами во всяком случае не разговаривали. Счастье для него и для всех нас, что оно не состоялось. На Пушкинском юбилее в 1937 году Сталину понравилось выступление Тихонова, и это его спасло. Конечно, он был безобидный для советской власти человек, абсолютно советский, никогда ничего себе не позволял. Но ему повредила поза, которую он принимал. Было несоответствие между тем, каков он есть, и его позой. Это часто встречается: несоответствие между характером человека и его позой — полезное для литературы и губительное для человека».

«Чем же полезное для литературы?» — спросил я.

«Так на этой позе построены все его хорошие стихи: „Орда“, „Брага“. У многих поэзия строится на определенной позе. У Лермонтова, например... Так что он спасся. А Заболоцкий был арестован по его делу... Вы не знаете, что Заболоцкий был арестован по делу Тихонова? Просидел восемь лет. Потом сам Тихонов хлопотал за его освобождение, я принимал в этом участие, мы действовали на Тихонова через его жену Марью... Если бы не война, Заболоцкого давно бы освободили. За него ручались все: и Фадеев, и Тихонов, партийная организация Ленинградского отделения Союза писателей. Хотя он был беспартийный... Нет, нельзя сказать, что Тихонов откровенно плохой человек, он искренен на каждом своем новом этапе. В 1930-е годы он был близок с Эренбургами, ездил с ними в Париж. А когда умер Эренбург, он не пришел даже на его похороны; не пришел и на похороны Любви Михайловны Эренбург, святой женщины, которой он очень многим обязан. Тогда он думал, как Эренбурги. Потом он стал думать, как Сталин. Сейчас он, наверное, думает... ну я не знаю... как Брежнев. По-своему искренне. Писать, конечно, он разучился. Но он, очевидно, знал, что намечалось его дело. После войны, когда его назначили секретарем Союза писателей, я пришел к нему в кабинет. Мы все-таки с детства знакомы. Он читал список... Мы не знали, но был такой список на всех писателей: кто что сделал; против каждой фамилии стояло: активно печатается в центральной прессе, мало печатается в центральной прессе. Я в годы войны печатался очень много. Он меня поздравил. Но как только я начал разговор о том, что меня вызывали, он сразу меня оборвал. И я понял, что он все знал...»

Я упомянул о сборнике материалов по делу Солженицына и о том, что прочел там его письмо рядом с письмом Твардовского. В сравнении с Твардовским он очень выигрывает, тому мешают дипломатичные оговорки.

«Он надеялся, что что-то получится. Твардовский звонил мне по поводу моего письма, благодарил за него. Кстати, оно не предназначалось для широкого чтения, не знаю, кто его распространил. Недавно мне попался его черновик. Он был раз в пять больше окончательного варианта. Я там писал о Моцарте и Сальери, о кровавой позиции Сальери... Это было уже не первый раз, когда он [Федин] становился главным препятствием в делах, в которых я был кровно заинтересован...»

В разговоре я упомянул Сартра.

«Я его терпеть не могу, — сказал Каверин. — „Слова“ — по-моему, это ужасно. Об этом столько раз писали — выдавать это за что-то новое? Человеку, воспитанному на русской литературе, это смешно. Конечно, он талантливый писатель, его пьесы сильно сделаны, но, по-моему, это явление поверхностное, я не понимаю, почему им так увлекаются. Я с ним встречался, и у меня сложилось о нем именно такое впечатление.»

(Еще о Сартре: «В нем слишком проявляются отличительные черты француза. А я не люблю писателей, которые воплощают исключительно какую-нибудь национальную черту».)

Я рассказал о работе [Анатолия] Якобсона. Каверин сказал, что знает его и что он произвел на него очень хорошее впечатление. Я подтвердил это, сказав, что главное его достоинство — большая степень внутренней свободы, которой мне пока не удастся достичь.

«Да, — сказал он, — это главное, над чем мы бьемся. Вот это то, к чему зовет Солженицын. Он недавно написал письмо одному литератору, где пишет: попробуйте. Вначале это трудно, а потом пойдет... Вот я сейчас так пытаюсь писать свои воспоминания. Не до конца свободно, конечно же, но пытаюсь. Между прочим, последний мой роман (в „Звезде“) — наиболее свободная вещь из всего, мной написанного. Если не считать ранних произве-

дений, фантастических. Особенно рассказ „Ревизор“ [он нашел в своей библиографии номер журнала, где был напечатан рассказ, я записал]. Если бы я в других условиях продолжал работать в этом направлении, кто знает, — он засмеялся, — может, из меня бы вышло что-нибудь стоящее».

На его даче шел ремонт, и мы вначале сидели не на террасе, а в комнате рядом с кабинетом. Стеллаж с украинской керамикой, на стенах французские плакаты и картины. Две картины интересные. Одна — работа Бориса Биргера: стена и в ней дверь, прямоугольник в прямоугольнике, но не абстрактная, а наполненная воздухом; мелкие мазки в коричневых тонах. Вторая — натюрморт Краснопевцева. «Между прочим, большой любитель классической поэзии, которую читает по-латыни. Это одна из его старых работ, а сейчас он, говорит, пишет вообще гениально».

Потом мы перешли с ним на веранду пить чай. Я спросил его, что он думает о Леонове.

«Он мне совершенно не интересен. Ранние вещи его еще были интересны, а потом... Я как раз пишу в воспоминаниях о семинаре, на котором мы разбирали Леонова. У меня сохранилась стенограмма, на нем не оставили камня на камне».

Я упомянул «Вора».

«Да плохо написано. Мне не хочется сейчас доставать эту книгу и листать. Я бы мог вам привести множество фраз, которые невозможно написать. Каждая фраза у него прихорашивается перед зеркалом и подкрашивает губки. Ему нечего сказать. И это стремление подражать Достоевскому, на что у него нет никаких оснований. Нет, это шелуха».

«Да, — сказал я, — пока читаешь, кажется интересно, а прочтешь — ничего не остается. Нет какой-то нравственной основы, своей мысли. Сомнительное заступничество за лес в годы, когда летят головы».

«Защита леса — это вообще чепуха. Нет, не говорите, в нем нет ничего интересного. Какое-нибудь „Взятие Великошумска“. Почему Великошумска? Так писать о войне! Если ты не нюхал порошу, так зачем же писать? У Федина-то хватило смелости ничего не писать о войне. Впрочем, в последнем романе он, наверное, что-то написал? Ну, это через восприятие какого-нибудь Пастухова. О таком великом событии, как война, писать „Взятие Великошумска“!.. Нет, это человек, который ненавидит советскую власть, — но не так, как, скажем, Мандельштам, а с других позиций. Он ипохондрик. И необычайно высокого мнения о себе. Говорят, он велит дочери читать вслух страницы своей книги и пристукивает по столу кулаком: гениально!.. Я знаю, что Иосиф Бродский считает себя большим поэтом, мессией русской поэзии. Я разговаривал с ним минут пять, мне это бросилось в глаза. Но потом я прочел его стихи и увидел, что он действительно очень талантлив, что эта позиция ему нужна, чтобы как-то утвердиться в своей правоте, чтобы удержаться в этих обстоятельствах. А Леонов...»

Я к слову вспомнил о Ф. Х. В. — заметил, с какими людьми знается Леонов.

«Да, кстати, — сказал Каверин, — не знакомы ли вы с Сахаровым? Как мне передали из заслуживающих доверия источников, возле него околачивается некий Шахмагонов. Он ходит в издательство „Московский рабочий“ и якобы предлагает издать брошюру Сахарова. Если это так, надо бы предупредить Сахарова, чтобы он был от него подальше. Это опасный человек, с ним не стоит связываться».

Я рассказал, каким образом видел однажды Шахмагонова у Петра [Якира], как он рассказывал о ростовско-шахтинских событиях и как Якир через Шолохова [секретарем которого был Шахмагонов] выхлопотал освобождение Габаю.

«Это еще больше укрепляет мои подозрения. Впрочем, не знаю, может, Шамагонов так резко изменился. Но не думаю. Ну, о Шолохове мы говорить не будем? Ясно, что это такое...»

Я спросил о Катаеве.

«Катаев? О нем можно судить даже по его собственным словам. В моральном отношении абсолютный подлец и циник. Он очень холоден, очень расчетлив. Святого для него ничего нет. Однажды Пастернак встретился с ним на улице и по рассеянности пожал ему руку. Так на другой день он написал ему длинное письмо, в котором объяснял, что пожал ему руку неумышленно, это ничего не должно означать, он просто не сообразил в задумчивости, что подает руку Катаеву...»

Конечно, он талантлив. Хорошо он может писать только о своем детстве. Дальше — нет. Когда он пишет о Бунине — по-моему, ясно, что это не Бунин, что тут нет правды. Но когда он пишет, как в Нью-Йорке встретился с женщиной, которую когда-то любил, как, вернувшись, видит в тумане лицо своей жены, — это талантливо, что говорить... Кстати, проза его, в общем, консервативна, он ничего особенного не открыл. Если почитать современную западную прозу, Болдуина или [назвал еще кого-то] — станет ясно, что открытия тут никакого нет. Но, бесспорно, он талантливей Леонова. Из Леонова ничего не извлечь. Насколько глубок и интересен Булгаков, насколько глубок и интересен Тынянов — настолько не интересен Леонов».

Заговорил о том, как интересно под старость вспоминать детство.

«Вы еще не можете об этом судить. Сколько вам лет?..»

Я заметил, что, к сожалению, чувствую себя развивающимся очень запоздало. Приходится многое преодолевать, переделывать в себе, постигая то, «что должно быть понятно с рожденья».

«Тут вы не правы, — сказал он. — Преодоление — это тоже развитие, это содержание человеческой жизни...»

Потом сказал: «Я вообще убежден — хотя меня тут можно опровергнуть гениальными примерами — но все-таки я убежден, что прозаиком можно стать лишь где-то после тридцати четырех лет».

Потом он вышел меня проводить. Переделкино было темно и пусто, все дачи темны. Каверин сказал, что здесь живут сейчас пять-шесть человек. Он шел очень быстро, сутулясь. Я заговорил о Слуцком, сказал, что хорошие стихи напечатаны в «Новом мире».

«Да, сейчас он хорошо пишет. И это лишь малая часть из того, что у него сейчас написано. Он очень хороший человек, хотя совершенно лишен обаяния. Бывают такие сочетания. У него был период некоторого спада, и это понятно: у него очаровательная молодая жена, и она очень больна...»

Я упомянул о его выступлении по делу Пастернака.

«Да, это совершенно необъяснимое и досадное происшествие. Наверное, он сам очень переживает. Об этом с ним никто не говорит...»

По дороге в совершенно пустынном переулке нам повстречался человек с собакой, маленькой шавкой. Она залаяла, подбежала к Каверину, и он вдруг вскрикнул — каким-то обиженно-бабым, неожиданно тонким голосом: «Ах ты, негодная, я тебе покажу, как кусаться!» Я даже не понял, почему он так испуганно обернулся к ней, стал отгонять. «Не бойтесь, — сказал хозяин собаки, — она вообще не кусается». — «Так она укусила, — возбужденно сказал Каверин. — Ну да, прокусила». Хозяин начал бормотать извинения, Каверин сказал: «Ладно, я все равно сейчас домой». И пошел со мной дальше, так же быстро. «Больно?» — забеспокоился я. «Нет, щиплет». Через некоторое время он все же остановился: что-то там намокает. Быстро попрощался и зашагал обратно...

По пути, в электричке, я читал его роман¹ в «Звезде», сразу со второго номера. (Ему, правда, сказал, что не начну читать, пока не достану первого номера. «Ни в коем случае!» — сказал он. Я намекнул, не даст ли он мне почитать первый номер — с возвратом. Он сказал, что нет, хочет оба номера переплести.) Интересно. Накануне Г. мне говорила, что у нее к героине двойственное отношение: она узнавала в ней много своего, и в то же время было ощущение какой-то неискренности. Я спросил Каверина, как он сам к ней относится. «Да я в нее просто влюблен, — сказал он, — хотя никогда ее не видел».

4. 3. 71. Звонил Каверину, он сказал: «Рассказы мне понравились меньше, чем ваша прошлая вещь. Нет обязательности, внутренней связи. Героям совершенно необязательно жить в одном доме. Я говорю вам откровенно, потому что считаю вас настоящим писателем. Прошлая вещь у вас была с замахом, пусть не во всем осуществившимся, а это слабей... Видите ли, если судить по среднему уровню, по тем рассказам, которые сейчас печатаются в „Новом мире“, то это вполне на месте. Но я же к вам отношусь серьезней»...

Поругал так, что стало даже немного приятно. Я, наверное, зря отдал ему рассказы, поторопился. Но, с другой стороны, я сам отдавал себе отчет, что это вполне на уровне «Нового мира». Слаб человек: хочется все же, чтобы это было закончено и напечатано. Может, все-таки отнести в «Новый мир»?..

7. 2. 72. Был у Каверина. Он хлопотал, разогревал себе ужин, уговаривал меня: разогреть вам яичницу? Работает сейчас над книгой. В прошлом году рассказывал о ней как о мемуарной, но решил написать цикл вольных эссе, не традиционных, с главами о семье, родителях, брате, о себе и своем характере, о честолюбии, преодолении страха. Попытка самоанализа. «Я беспощадно к себе пишу».

Показал роман «Перед зеркалом», изданный в ФРГ. Говорил, что приходит много писем, в том числе от художников, от писателей. «Я почти всем отвечаю. Борис Биргер мне когда-то говорил: если ваш роман напечатают, что мне кажется невероятным, это будет большое дело для нас, художников, потому что здесь отстаиваются совсем иные ценности».

За немецкое издание он получил сто семьдесят рублей «золотом», то есть примерно (это нужно умножить на пять) восемьсот обычных рублей. «Я получаю четыреста рублей за лист, значит, мне фактически оплатили за два листа, а в романе тринадцать. Остальное пошло государству. Я зарабатываю для государства огромные деньги. Сейчас издали в АПН «Два капитана» на испанском языке, восемьдесят тысяч — тираж, огромный для европейской страны, на прекрасной бумаге, в прекрасном полиграфическом оформлении. Я за это не получил ни копейки. Вообще мне полагается шестьдесят процентов. Симонов, которого тоже много печатают за границей, сейчас борется за то, чтобы этот тираж увеличили. Это как Рихтер, который получает самый большой в мире гонорар, две тысячи пятьсот долларов за выступление. На руки он получает двести пятьдесят. Правда, построили ему двухэтажную квартиру и т. п. Солженицын сейчас добился, чтобы получать шестьдесят процентов. Он сейчас состоятельный человек. И Нобелевская премия в этом году была особенно большая, она ведь каждый год разная. Но вот существуют писатели, которые ни копейки не приносят государству, потому что их за границей не печатают. Ну, может быть, Кочетов имеет скандальный успех в Советском Союзе. Но я не думаю, что, скажем, Михаил Алексеев приносит государству доход. В лучшем случае получается так на так».

¹ Имеется в виду роман «Перед зеркалом».

Рекомендовал мне две новые литературоведческие книги: Гинзбург о психологии прозы и Чудакова о мастерстве Чехова.

«Мне прислали список новинок, я получил всего четыре. В первую очередь удовлетворяют спрос более высоких категорий, начальства. Мне шлют уже где-то в четвертую, в пятую очередь, что останется. Мне или моей категории».

«Неужели даже в Лавке писателей существует такая табель о рангах?»

«Еще как существует! В первую очередь посылают — ну я не знаю кому — заместителям министров».

«Но разве заместители министров читают книги?»

«Дети их читают. В этом все дело. Этим я, кстати, объясняю успех своего романа — у нас и за рубежом. Я, откровенно говоря, удивляюсь: кому на Западе может быть сейчас интересен такой традиционный, в общем, роман? Но они же издают очень расчетливо, не наобум, им прибыль нужна».

Заговорили о новом романе Солженицына. Каверину очень понравилось. «Есть некоторые погрешности художественные, которые мне очевидны». Когда я начал делать оговорки, он со мной не согласился. Но согласился с мыслью, что при нормальной литературной ситуации Солженицына надо было бы обсуждать всерьез, не только с похвалой.

«Я же об этом говорил на заседании секретариата, когда обсуждался „Ракковый корпус“. Я сказал: вы создаете себе врага, отталкиваете. И, преследуя его, вы только его ожесточите. Точно так и получилось. Может, кому-то нужны враги? Но теперь он крепко стоит на ногах. Я видел его на похоронах Твардовского. Этот человек стоит на ногах твердо, за последние годы у него окончательно сформировались взгляды. И как он работает! Я не говорю, что он работает шестнадцать часов в сутки, но если он работает хотя бы двенадцать часов — это уже феноменально! Теперь с ним ничего не сделают. Могут, конечно, убить, но вроде бы это сейчас не принято. Это когда-то Михоэлса могли убить, стукнуть по голове. А сейчас наше умеренно консервативное правительство вряд ли на это пойдет. Конечно, ничего нельзя предсказывать, но я думаю, нет».

Заговорили о религиозности Солженицына. «Судя по его молитве о Твардовском, он сейчас определенно религиозный человек». Я сказал, что сейчас это поветрие, он неожиданно ответил: «Вы знаете, я тоже стал всерьез думать о христианстве и именно о православии. Вы этого не поймете, это дело возраста. Пока Пастернак был молод, ему было не до христианства. А вот я сейчас сижу, углубившись сам в себя, вся моя работа сейчас — углубление в самого себя, и чувствую, что это серьезная тема».

Поговорили в связи с этим о всяческом национализме, русском и народов СССР.

«Я не знаю, что творится в мире. Я сижу тут, день мой расписан по часам, занимаюсь работой. Я надеялся, вы мне что-нибудь расскажете. Я ничего не знаю. Что, например, происходит сейчас во Вьетнаме? Все то же? А в арабских странах?»

Заговорили об Израиле, евреях, о поветрии отъездов.

«Я этого не понимаю, — сказал он. — Я всегда был убежденный ассимилятор. Я считаю, что, если еврей живет в Англии, он должен быть англичанином, в России — русским. Вот у моего сына уезжает один сотрудник, кандидат наук. Но он о нем особенно не жалеет. Говорит, это необычайный эрудит, но эта эрудиция не переходит в более самостоятельные идеи. [Сын у него биолог, изучает развитие вирусов в клетке.] А вообще, говорит мой сын, сейчас можно жить, можно заниматься своей работой. Особенно не мешают. Попросил у начальства новое оборудование — ему выписали. Есть и такая точка зрения. А вот моя дочь — она профессор, доктор наук (фарма-

колог-кардиолог) — говорит, что у них в институте очень плохая обстановка. Приходят по часам, уходят по часам, чашку чая нельзя выпить: солдатчина, казарма. И очень мало хороших работ. Был конгресс кардиологов, наши представили жалкие доклады. Есть хорошие терапевты-кардиологи, их интересно было слушать».

Упомянули Евтушенко.

«Он мне много рассказывал про всякие мировые события, и все они вертелись вокруг него, Евтушенко. Рассказывал, что во Вьетнаме у сбитого американского летчика нашли карту, и на ней в одном месте было написано Евтушенко-goat (дорога Евтушенко). Впрочем, он и присочинить может.

Трифонов рассказывал мне, как он советовался с покойным Твардовским, стоит ли отдавать рассказ в «Новый мир». Отчего же, говорит, давайте. Если хороший рассказ, все равно не напечатают, а плохой — не все ли равно, где печатать?..»

10. 10. 73. Вчера был у Каверина. Он немного постарел, но работает много (сегодня работал пять часов, даже в моем возрасте это очень много и не всегда удается). Пишет вторую книгу мемуаров... Заметил, что сейчас в литературе произошли благоприятные сдвиги, стало возможно писать о личном. Например, в последнем номере «Звезды» появился рассказ Баранской: «Вы не читали? Я не сравниваю по уровню, но по типу это совершенно чеховская вещь. Или Битов — у него же нет ничего от социалистического реализма». Упомянул также новую работу Белова, которая печаталась в «Севере».

Мне это было немного странно. Я сказал, что не считаю Баранскую таким уж показателем сдвига; о личном дозволено писать уже последние лет пятнадцать, а то и больше.

«Нет, вы это недооцениваете, — сказал он, — вы не помните сталинские времена».

Я сказал, что появились работы, действительно обозначившие новое самосознание пишущих, в частности в мемуарной литературе. Тут я упомянул Н. Я. Мандельштам. Он помрачнел.

«Вы не читали вторую книгу ее воспоминаний?»

«Нет».

«Это черт знает что, это политический поклеп, ругань. Я ей написал по этому поводу большое письмо. Она оскорбила Тынянова, многих других. Она может писать: этот дурак Булгаков. Да что говорить! Л. К. Чуковская пишет в ответ целую книгу...»

Спросил, что я пишу. Я отдал ему сказку. Он одобрил, что я берусь за новые жанры. Узнал, что я написал статью, тоже попросил оставить...

Поговорили о политике... В девять часов включил радио, слушал «Немецкую волну», многозначительно приподнимал брови при некоторых известиях, оглядывался на меня. Милый старик. Он (как и все, наверное) живет в круге сравнительно замкнутом. Я смотрел на него уже более трезво и самостоятельно, чем два года назад, его литературные вкусы скорей озадачили меня, чем произвели впечатление...

Дал мне читать две новые книги: повести и «Собеседника». Дарить не стал: маленький тираж...

15. 10. 73. Читаю «Скандалиста», которого дал мне Каверин. Как это, оказывается, теперь неинтересно!

3. 10. 74. У Каверина. Известие о внезапной смерти Шукшина, сорок два года... Воспоминания о Тынянове (19 октября ему восемьдесят лет, выходят две книги). Как Лидия Николаевна была с ним, когда он болел свинкой, и не заразилась. Как его секретарша записывала за ним два года каждое его слово, потом она умерла, а дневник погиб, остался только один листок (он будет напечатан в книге).

«А я в своем самодовольстве не записывал за ним, — сказал Каверин. — Впрочем, он был так близко... как брат. Есть ли в русской советской литературе человек, так совмещавший блистательного писателя и такого же ранга ученого?» Вспомнил, как Тынянов сдержанно отзывался о его работах, будучи настоящим учителем. «Ты все-таки писатель». «„Все-таки“ — это по поводу очень дорогой мне книги „Черновик человека“». Или, прочитав первые три страницы, отталкивал рукопись и не читал дальше. Или, принеся рассказ как на подносе, говорил: «Нобелевская премия обеспечена».

Оставил ему «Гоголя».¹

«Хотите знать, что я думаю о Гоголе? — сказал он. — Что это лучший из всех писавших когда-либо на русском языке».

Лидия Николаевна — старушка все-таки — рассказывала о своих болезнях (опоясывающий лишай)...

31. 10. 74. «Поехал к Каверину».

Я бы сделал из этой повести большой рассказ, — сказал он. — Ведь идея, замысел чрезвычайно интересны: рассказать читателю, как Гоголь воспринял смерть Пушкина. Я, например, не знал или забыл, что он был в это время в Риме... или Париже?.. Это очень интересно. Но вы допустили какой-то композиционный просчет. Сначала, примерно на треть, у вас идет затянутое вступление: какой-то карнавал, какие-то разговоры в ресторане. Но вот наконец он узнал о смерти Пушкина. И вместо того чтобы рассказать о его потрясении, вы продолжаете разговор с какими-то двумя собеседниками, какие-то анекдоты, совершенно ненужные. Вы очень подробно описываете этих собеседников, но, несмотря на это, они не производят у вас впечатления реальных лиц... И лишнее все это. Вот там, где возникает разговор Гоголя с Пушкиным, это у вас прекрасно. Понимаете, вы умеете писать, весь этот карнавал написан ярко, пестро, в духе Судейкина. Но у меня такое впечатление от этой и от других ваших работ, что вы, как конькобежец, подлетаете к теме и тут же отлетаете. (Я в свое время много занимался коньками.) Не чувствуется мысли. Может быть, она как-то запрятана, но от читателя требуется большое усилие, чтобы ее уловить. А я сейчас больше всего ценю в прозе мысль... Если бы это был черновик моей собственной работы, я бы сделал так...»

И дальше он мне стал советовать, как усовершенствовать композицию повести... Говорил долго... Я потом попытался объяснить, как хотел изобразить мир Гоголя и что значат карнавал, разговоры в ресторане, оба двойника, которые и есть реакция на известие; это мир, обернувшийся гримасой. Он слушал с интересом, но потом сказал: «Вот видите, мне кажется, что у вас все возникает из мысли, что идея предшествует работе».

¹ Повесть «День в феврале» — первая моя публикация (Новый мир, 1976, № 4, с предисловием Д. Самойлова).